

Научная статья

УДК 821. 161.1

DOI 10.17223/18137083/83/7

**Образ Марины Мнишек
в исторической репрезентации Д. Иловайского
и поэтике М. Цветаевой: от исторических штудий
к персональному мифу**

Светлана Юрьевна Корниенко

Новосибирский государственный педагогический университет
Новосибирск, Россия

sve-kornienko@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1256-683X>

Аннотация

Статья посвящена генеалогическим исследованиям Марины Цветаевой, значению в конструировании ею образа Марины Мнишек трудов ее сводного деда – известного историка Д. И. Иловайского (1933), чьему образу она делегирует немало личностных черт: свободу от партий и тенденций, радикальный индивидуализм и идеализм, неукорененность в физическом мире вплоть до трансгрессии. Историческое письмо Иловайского становится для нее чрезвычайно привлекательным: обилие каузальных конструкций, резко расширяющих область фантазийного и допустимого, обилие живописных деталей и побочных сюжетов в исторических трактатах Иловайского вполне корреспондируют со «словесным гомеризмом» (безмерностью) самой Цветаевой.

Ключевые слова

Цветаева, Иловайский, самозванство, Марина Мнишек, авторская идентичность, персональный миф

Для цитирования

Корниенко С. Ю. Образ Марины Мнишек в исторической репрезентации Д. Иловайского и поэтике М. Цветаевой: от исторических штудий к персональному мифу // Сибирский филологический журнал. 2023. № 2. С. 85–97. DOI 10.17223/18137083/83/7

© Корниенко С. Ю., 2023

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2023. № 2. С. 85–97
Siberian Journal of Philology, 2023, no. 2, pp. 85–97

The image of Marina Mnischech in the historical representation of Dmitry Ilovaysky and the poetics of Marina Tsvetaeva: from historical studies to personal myth

Svetlana Yu. Kornienko

Novosibirsk State Pedagogical University
Novosibirsk, Russian Federation

sve-kornienko@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1256-683X>

Abstract

This paper investigates the genealogical research by Marina Tsvetaeva. The focus is on how the works of her step-grandfather, the famous historian Dmitry Ivanovich Ilovaysky, contributed to Tsvetaeva's image of Marina Mnischech. Tsvetaeva's lyric poetry reveals her passion for her Polish genealogy, with an ekphrastic portrait of her Polish grandmother reflecting the Polish cultural stereotype: aristocratism and musicality, Polish pride, and a tendency to revolt. Studying the cultural background is essential for understanding Tsvetaeva's historical texts, for example, her step-grandfather's textbooks, which she claimed to learn history from. His image is embodied in the essay "The House at the Old Pimen" (1933). Tsvetaeva delegates many personal traits to "grandfather Ilovaysky": freedom from parties and trends, radical individualism and idealism, and unrootedness in the physical world, up to and including transgression. The same essay points to an artifact, Ilovaysky's book, which she keeps in her émigré library. The work by Ilovaysky depicts Marina Mnischech in the spirit of tendencies characteristic of the conservative historical narrative. When young, Tsvetaeva was far from the political views of her grandfather. However, it is his historical way of writing that becomes extremely attractive to her. The abundant causal constructions dramatically expanding the realm of fantasy and permissible and plenty of pictorial details and side plots in historical treatises by Ilovaysky fully correspond with the "verbal homerism" of Tsvetaeva herself.

Keywords

Tsvetaeva, Ilovaysky, imposture, Marina Mnischech, author's identity, personal myth, metapoetics

For citation

Kornienko S. Yu. The image of Marina Mnischech in the historical representation of Dmitry Ilovaysky and the poetics of Marina Tsvetaeva: from historical studies to personal myth. *Siberian Journal of Philology*, 2023, no. 2, pp. 85–97. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/83/7

В мифотворческих и житнетворческих практиках модерна большую роль играют генеалогические исследования, позволяющие художнику артикулировать параметры собственной поэтической идентичности. Нередко для таких построений художнику необходимо выйти за границы собственного рода и подвергнуть своеобразной поэтической «колонизации» (буквально – освоению и присвоению) чужие поэтические души. Такой универсальной «душой», идеальным (модельным) поэтом, в которого модернисты вчитывали собственную творческую личность, абсолютно естественно стал А. С. Пушкин, чья протеическая природа способствовала подобным операциям. Взяв за основу популярный среди модернистов ориентальный вектор пушкинской генеалогии («Пушкин – русский поэт-негр»), М. И. Цветаева выводит из него базовые аспекты собственной версии поэтического мифа, в котором – в антитезу аполлоническому Пушкину – поэт артикулирует

дионисийскую составляющую («страстность», «дикость», «неистовость», «бунташность» и пр.). Ту же роль, что в пушкинском случае выполняла африканская генеалогия (иноприродность / «заморскость» гения)¹, в метапоэтических построениях Цветаевой начинает играть польская идентичность.

В нашей статье будет установлен контекст цветаевского детского чтения, определивший как параметры ее польского мифа, так и облик некоторых возводимых к этому мифу литературных персонажей – бесчисленных цветаевских самозванцев лирики 1916–1921 гг. Другая составляющая авторских исторических познаний о польско-русских взаимоотношениях и бурных временах Смуты, попавшая в область нашего исследовательского интереса, – современный ей школьный канон (учебники так называемых «либеральных гимназий», указанные и демонстративно отвергаемые цветаевской автобиографической героиней). Обращение к реальному, нередко стихийному кругу чтения² юной Цветаевой, принятым и отринутым текстам дает сложную картину читательских предпочтений и стратегий, принципов конвертации исторического факта в художественный текст.

В цветаевской лирике 1910–1920-х гг. увлеченность собственной польской генеалогией найдет лишь косвенное отражение в исторических штудиях, связанных с историей семьи. Польско-немецкое происхождение матери – Марии Александровны Цветаевой (в девичестве Мейн) – стало для Цветаевой благодатной почвой как для генеалогических изысканий, так и для формулирования констант собственного персонального мифа, позднее отлитых в максимы в записной книжке 1933 / 1934 гг.:

Иногда прадед с правнуком говорят по прямому проводу, вне промежуточной инстанции (станции, стоянки) родителей.

От деда Александра Даниловича Мейна у меня педантизм и деспотизм (просвещенный).

От Марии Лукиничны Бернацкой польский нос и мятеж.

От матери Марии Александровны Цветаевой все это, усугубленное, + «мужицкие вкусы» от кормилицы.

От отца И. В. Цветаева – воловья жила (труда и тьфу! тьфу! здоровья) и крайний демократизм *тела*.

—
От самой себя – ? – (Цветаева, 2001, с. 419)³.

¹ Ср. с «иномирными» образами других значимых поэтов в текстах Цветаевой: Кузмин – «француз с Мартиники – XVIII-го», Бальмонт – «заморский гость» и пр. Сюжет конвертации «прозы жизни» воображаемых предков в «поэзию слова» их последнего потомка (поэта) – тема М. Кузмина (стихотворение «Мои предки» открывает его первую книгу стихов «Сети», 1908).

² См. характеристику цветаевского письма и страстного чтения в письме ее отца И. В. Цветаева к А. А. Иловойской, жене историка Д. И. Иловайского: «Муся же пишет и по-русски правильнее и литературнее 5–6-классников в гимназиях. Экия дарования Господь ей дал! И на что они ей! После они могут принести ей больше вреда, чем пользы. **Любознательность в чтении у нее так велика**, что в пансионе должны были бороться, особенно когда окулист дал ей страшные очки и сказал, что у нее такая галопирующая близорукость, которая может к 20 годам кончиться и... слепотою» [Жупикова, 2015, с. 46]. Письмо от 26 июня 1903 г. Здесь полужирный шрифт в цитатах наш. – С. К.

³ Здесь и далее полужирный шрифт наш, курсив Цветаевой. – С. К.

Портрет упомянутой «мятежной» польской бабушки висел в доме Цветаевых в Трехпрудном переулке. Экфразистическое представление именно этого портрета найдет отражение в стихотворении «Бабушке» (1914), в «продолговатый и твердый овал» которого Цветаева максимально впишет польский культурный стереотип: аристократизм и музыкальность («руки, которые в залах дворца / Вальсы Шопена играли»), специфически польскую гордыню – *gonog* («ледяное лицо», «темный, прямой и взыскательный взгляд», «надменные губы») ⁴ и, наконец, «...этот жестокий мятеж / в сердце моем», образующий связь молчаливой польской бабушки с ее поэтической наследницей.

Формулу самопрезентации, отлитую в стихотворении «Бабушке», Цветаева будет неоднократно воспроизводить в текстах разных дискурсивных установок. Существенной составляющей этой формулы («мятеж в сердце») станет генеалогическая привязка. В письме к В. В. Розанову, написанном в том же году, что и стихотворение, ближайшим носителем мятежности как печати рода называется мать: «Ее измученная душа живет в нас, – только мы открываем то, что она скрывала. Ее мятеж, ее безумие, ее жажда дошли в нас до крика» (Цветаева, 2012, с. 181). В письме другому адресату – С. М. Волконскому – в формуле самоописания («жестокий мятеж в сердце») акцентируется ранее имплицитная польская составляющая: «Но как вы – сразу – легкой оговоркой – усмиряете весь мой польский мятеж еще до вспышки» (Цветаева, 2012, с. 390) ⁵.

Поэтическая фантазия, выстроенная вокруг образа, в эстетических построениях Цветаевой нередко опережает исторические изыскания. Молодая Цветаева лично не знала своих польских предков. «Юная бабушка», Мария Бернацкая, чей портрет был воспет в стихотворении 1914 г., умерла через три недели после рождения дочери – Марии Мейн, будущей матери поэта. Тема польских предков была во многом фантазийна, вплоть до 1933–1934 гг., когда Цветаева неожиданно знакомится со своими «польскими бабушками», что становится импульсом для изучения подлинной, а не воображаемой истории собственной семьи. Во время встречи с родственниками Цветаева узнает подробности участия своей бабушки в восстании Костюшко, что найдет отражение в письме Вере Буниной от 28 августа 1933 г.:

Да! Было у меня на днях разочарование: должна была ехать с С. М. Волконским к своим бабушкам-полячкам, п. ч. оказывается – он одну из них: 84-летнюю! девятилетним мальчиком венчал – с родным братом моей бабушки. (Эта старушка жена брата моей бабушки.) <...> Но, узнав что *моя бабушка 12 лет* вместе с сестрами 14-ти и 16-ти **во время польского восстания в Варшаве прятала повстанческое оружие** (прадед был на рус-

⁴ Тартуская исследовательница И. Рудик обращает внимание на расхождение аксиологии в польской и русской картинах мира: «Гордыня или “гонор” – стереотипная черта поляков в восприятии русских. Сначала гордыня и заносчивость приписывались шляхтичам, в дальнейшем эти признаки были перенесены на всю польскую нацию. Цветаева делает намек на “польский гонор” еще в стихотворении “Бабушке” (ср. холодность и надменность героини). В польском языке “гонор” – лексема с положительными коннотациями и означает “честь, достоинство”. Это слово, пришедшее из латыни (*honor*), сохранило свое исходное значение, например, во французском и английском языках, тогда как в русском языке в лексеме “гонор” заложена негативная коннотация» [Рудик, 2014, с. 130].

⁵ Письмо от 28 марта 1921 г. Этот текст будет переписан Цветаевой в беловую творческую тетрадь, что, безусловно, подчеркивает значимость образов и идей, в нем отраженных (Цветаева, 1997а, с. 14).

ской службе и обожал Николая I), **узнав себя – в них**, их в себе – утешилась и в С<ергее> М<ихайловиче> и во всем другом. Об этом, Вера, только Вам. Это моя тайна (– с теми!) (Цветаева, 2016, с. 120).

В цветаевских текстах самой разной эстетической природы облик исторической самозванки, возможно, самой знаменитой полячки в русской истории, также несет след генеалогических изысканий, связанных с параметрами собственной «польскости». Цветаева, как широко известно, была убеждена и неоднократно транслировала через тексты самой различной природы, что была названа матерью в честь знаменитой спутницы трех исторических самозванцев, самой знаменитой польской мятежницы – Марины Мнишек. В большинстве исследований, посвященных польской теме и образу Марины Мнишек в поэзии Цветаевой (см. [Мейкин, 1997; Шевеленко, 2002; Рудик, 2014; Орловский, 2016] и др.), отмечается контристоричность и даже антиисторичность ее эстетической позиции, что, безусловно, легко объясняется приоритетом художественных задач и выбранной ею лирической формой высказывания. Известная исследовательница творчества Цветаевой И. Шевеленко отмечает, что «...узнаваемый исторический сюжет – история Лжедмитрия и Марины Мнишек – используется Цветаевой вовсе не для исторических ассоциаций. В истории ее интересует то, что можно деисторизовать, универсализировать: характеры героев. Разумеется, прежде чем стать интересными автору, характеры эти “доводятся” до эпической очерченности...» [Шевеленко, 2002, с. 115–116].

Традиция подобного прочтения была заложена в классической работе М. Мейкина, справедливо указавшего в качестве «сильного текста», по отношению к которому Цветаева выстраивает свою версию самозваного сюжета, пушкинского «Бориса Годунова», чья историософская и историческая концепция опирается, в свою очередь, на «Историю Государства Российского» Н. М. Карамзина. Американский исследователь представляет образ Марины Мнишек в развитии – от стихотворений 1916 г., позднее вошедших в книгу стихов «Версты. Вып. 1» (1922) до «Ремесла», включающего цикл «Марина» (1921), с аллюзиями к теме революции и Гражданской войны (В. Швейцер), а также ассоциированностью со «Стихами к Блоку» (И. Кудрова). Особенностью прочтения Цветаевой этой темы – на фоне сложившегося литературного канона (К. Ф. Рылеев, А. С. Пушкин, А. К. Толстой) является, по его мнению, «антиисторическое (или неисторическое) прочтение унаследованных источников» [Мейкин, 1997, с. 153], первейшими из которых по праву «сильных текстов» являются пушкинская и карамзинская интерпретации.

Однако верификация такого консенсусного в цветаеведении вывода через другие вероятностные исторические источники, осмысление сложившихся к началу XX в. историографических и исторических нарративов, описывающих бурное Смутное время, дает более сложные и многомерные результаты. Немалое значение в этом осмыслении играет понимание культурной среды, в которой росла Цветаева. В частности, ее сводным дедом⁶ был известный российский историк Д. И. Иловайский, автор популярных учебников по российской истории, по которым, как неоднократно подчеркивала сама Марина Цветаева в текстах разной природы, она изучала историю. Образ знаменитого деда будет облачен в привлекающий ее культурный архетип «дон-кихота», заблудившегося во времени и пре-

⁶ Дмитрий Иловайский был отцом В. Д. Иловайской, первой жены И. В. Цветаева, а также родным дедом старшего брата и сестры поэта – Андрея и Валерии.

вращенного в анахронизм благородного чудака (этот же культурный тип с некоторыми коннотациями – С. Волконский в эссе «Кедр», Дж. Казанова в пьесе «Феникс», М. Кузмин в обращенном к нему письме и эссе «Нездешний вечер»). В некотором смысле анахронизм своих любимых героев (Дж. Казановы, Д. Иловайского, С. Волконского) Цветаева осмысляет в логике своей ахронности, ведущей к единственности / эксклюзивности, трагическому несовпадению во времени с воображаемым идеальным читателем, который ждет ее в будущем, через гипнотические и превышающие пределы человеческой жизни «100 лет»⁷. В эссе «Дом у Старого Пимена» (1933) художественность «живой истории» по Иловайскому парадоксально противопоставляется тенденциозности исторических нарративов «либеральных гимназий»⁸:

Один вопрос нам с Асей, впрочем, прибавился, даже целых два. «В гимназии учишься?» – «Да». – «По какому учебнику?» – «По Виноградову». (Вариант: Випперу.) Недовольное: «Гмм...» Но Иловайский мне на экзаменах послужил, и не раз. Однажды, раскрыв его учебник, я попала глазами на следующее, внизу страницы, булавочным шрифтом, примечание: «Митридат в Понтийских болотах потерял семь слонов и один глаз»⁹. Глаз – понравился. Потерянный, а – остался! Утверждаю, что этот глаз – художественен! Ибо что же все художество, как не находенье потерянных вещей, не увековечение – утрат?

Стала читать дальше, – и раньше, и после, и древнюю, и среднюю, и новую, и вскоре убедилась, что всё, что он пишет – вижу, что у него всё – *глаз*, тогда как неизбывная «борьба классов» наших Потоцких, Алферовских и т. д. либеральных гимназий – совсем без глаз, без лиц, только кучи народа – и все дерутся. Что тут *живые* лица, живые цари и царицы – и не

⁷ См. один из многочисленных примеров такой хронометрии, совпадающей, кстати, с обычным циклом канонизации, окончательным закреплением поэта в пантеоне классиков: «И – главное – я ведь знаю, как меня будут любить (читать – что!) через сто лет!» (Цветаева, 2013, с. 77) (Письмо О. Е. Колбасьиной-Черновой от 17 октября 1924 г.).

⁸ Эссе «Дом у Старого Пимена» тяжело проходило горнило предпечатной подготовки в журнале «Современные записки». В переписке с редактором Рудневым обсуждалась репутация ее сводного деда (редактор отмечает, что проблема с публикацией очерка связана не столько с «одиозностью» ее персонажа, сколько с малой значительностью, настаивая на смещении акцентов с личности историка на «описание старого московского интеллигентского быта»). Цветаева услышит пожелание редактора, заменив первоначальное название произведения «Дедушка Иловайский», но сохранив при этом многомерную сложность – вплоть до пугающей монструозности – своего героя: «Очень рада, что мой Иловайский Вас не утратил, т. е. м. б. и утратил, но иначе. (Он, по-моему, *должен* утрачивать, и мой, семейный, еще больше, чем тот, общественный)» (Марина Цветаева... 2005, с. 30–31).

⁹ Прямая отсылка в цветаевском тексте к учебнику Древней истории (примечание «булавочным шрифтом») ведет читателя в никуда. У Иловайского понтийский царь Митридат первый раз упоминается, действительно, в примечании, но совершенно в другом контексте (разделы «Помпеи и Красс», «Сулла»). А вот эффектные детали – потерянный в болотах, но не в Понтийских, а в тосканских («по долине Арно, затопленной весенним разливом»), глаз – «от вредных испарений и ночного бдения», а также беспрерывно падающие в альпийские пропасти неисчислимыя слоны связаны с совершенно другим героем, жившим в другую эпоху, – великим карфагенянином полководцем Ганнибалом и его походом в Италию [Древняя история, 1867, с. 227–228]. Понтийские болота близ Аппиевой дороги, ведущей в Рим, образовались в самом начале I в. н. э., уже после смерти как Ганнибала (247–183 гг. до н. э.), так и Митридата (132–63 гг. до н. э.).

только цари: и монахи, и пройдохи, и разбойники!.. «Вы отлично подготовлены. По каким источникам вы готовились?» – «По Иловайскому». Либеральный педагог, ушам не веря: «Как? Но ведь его учебники совершенно устарели! (Пауза, наполненная всяческими размышлениями). Во всяком случае, вы прекрасно осведомлены. И, несмотря на некоторую односторонность освещения, я вам ставлю...» – «Пять», – мысленно подсказываю я. Эту шутку я повторяла в каждой гимназии, куда поступала, а поступала я постоянно. Так, столь ненавистный стольким школьным поколениям «Иловайский» – источник не одной моей, школьницы либеральных времен, пятерки (Цветаева, 1997б, т. 5, кн. 1, с. 109).

В учебнике Р. Виппера, скептически оцененном Иловайским – героем цветаевского эссе, культура допетровской Руси рассматривается в синхронии с культурами Европы (такой же компаративистский подход представлен в трудах упомянутого Цветаевой П. Виноградова). Основной проблемой, препятствующей синхронному описанию исторических процессов, является, по мнению этих ученых, догоняющий тип русской цивилизации: замедление исторических процессов, источником которого стали «нашествия варваров» (монголо-татарское иго) и модель правления Ивана IV. В частности, Виппер указывает, что явления, аналогичные западной Реформации XVI в., наступают в России лишь в середине XVII в.; смена абсолютизма демократией в России запаздывает, сравнительно с Западом, «на 100–150 лет» [Виппер, 1928, с. 4]¹⁰. События конца XVI – начала XVII в. рассматриваются в главе «Век Реформации», причем главными причинами смут, охвативших русское государство, называются Ливонская война и «беспокойная опричнина», подорвавшая ткань государства, а также процесс закрепощения крестьян [Там же, с. 115–117]. В логике известного историка самозванство, возникшее в донских степях и на землях Украины, становится реваншем – ответом вытесненной опричниной за пределы собственного государства подлинной Руси – на произвол боярства: «С прекращением династии Рюриковичей казачество и Украина стали выдвигать своего царя, “народного”, в противоположность московскому, боярскому» [Там же, с. 117].

Для исторического письма Р. Виппера характерен концептуально-прогрессивистский (позитивистский) подход и стилистическая сдержанность: ход истории рассматривается в контексте смены формаций и стадий развития государства и общества (Средневековье – Реформация – Просвещенная монархия – Демократия / Конституционная монархия). При таком доктринальном подходе личная история или какие-либо детали приобретают значение, когда непосредственно влияют на смену общественных формаций. Любопытно, что и либеральный ученый Виппер, и ультраконсервативный Иловайский отмечают важность процессов неудачной Реформации в соседней Речи Посполитой, пусть и противоположно оценивая этот исторический процесс.

Исторический антураж сценки со сдачей экзамена необходимо прояснить. Трюк с произнесением имени ультраправого Иловайского в стенах «либеральных гимназий»¹¹ показывает отнюдь не партийную закреплённость ее позиции (гим-

¹⁰ Эмигрантское переиздание популярного дореволюционного учебника.

¹¹ В письме редактору В. Рудневу Цветаева проговаривает словесные триггеры, представленные в эссе, среди которых самим автором отмечаются «либеральные гимназии»: «Не понимаю политического подхода Милюкова к явлению, данному явно в области жизненной, человеческой и даже мистической. (Ведь мой Иловайский – жуток! Эту жуть,

назистка Цветаева, как известно, грезил революцией и мечтала умереть за русскую конституцию), а скорее демонстрирует отношение юного поэта к носителям символической власти, идеологическому давлению, усиленному сюжетной ситуацией экзамена. Поэт, намного опередивший свое время, конструирует образ знаменитого, но «совершенно устаревшего» сложноустроенного деда, максимально проявляя в его портрете собственные черты: свободу от легитимных партий и тенденций, неприятие жестких политических и идеологических конвенций, радикальный индивидуализм и идеализм, неукорененность в физическом мире вплоть до трансгрессии: «Иловайский же, кроме любви к России, знаменуемой для него ненавистью к инородцам, любви к монархии вплоть до суда над монархом, ничего не знал и не хотел знать» (Цветаева, 1997б, т. 5, кн. 1, с. 121).

В этом же эссе Цветаева указывает на артефакт, проверить подлинность которого пока не представляется возможным: «...есть у меня на память о нем, с собой, его книга о моей соименнице, а отчасти соплеменнице Марине, в честь которой меня и назвала мать» [Цветаева, 1997б, т. 5, кн. 1, с. 136]¹². Однако библиография Дм. Иловайского не содержит ни отдельной монографии, ни даже статьи, посвященной знаменитой неистовой полячке. Но именно эта фикциональная отсылка позволяет с большим вниманием отнестись к профилю образа Марины Мнишек в исполнении именно этого историка.

В многомной «Истории России» Иловайского, которую усердно штудировала Цветаева-гимназистка, события Смутного времени представлены достаточно подробно, занимая изрядную часть пятого тома. Фигура Марины Мнишек осмысливается Иловайским в духе тенденции, характерной для ультраконсервативного исторического нарратива. Современный историк А. В. Юдин в фундаментальной статье «Марина Мнишек глазами русских историков XVIII – начала XX века» указывает на эпизодичность образа Марины Мнишек в трудах Иловайского, а также характерность представления этого персонажа в консервативном дискурсе, где главные причины Смуты объяснялись интригами «чужих» (поляков и католиков). В такой логике «Марина казалась не более, чем жалким орудием в руках заклятых врагов Москвы» [Юдин, 2016, с. 85], – отмечает Юдин, подчеркивая, что

в истории его жен и детей, в их смертях – усилию.) Очень жду Вашего ответа. Если были бы маленькие, чисто-словесные, загвоздки (там есть одно место насчет “либеральных гимназий”) – отметьте сразу, если дело в словах и этих слов немного – пошла бы на уступки. Но на *мой* взгляд – все приемлемо, если только не оттолкнет *имя*, которого ни изменить, ни заменить не могу» (Марина Цветаева..., 2005, с. 29). См. образ «либеральных гимназий» в письме Вере Буниной: «Не бойтесь, ни Надю, ни Олю не дам и не давала *затворницами*. Есть хуже затвора, по себе знаю, когда училась в “либеральных” интернатах: “Можешь дойти до писчебумажного магазина “Надежда” но *не дальше*”. Я эти полу-, четверть-свободы! – ненавидела! Дозволенные удовольствия, даже – соизволенные. “Поднадзорное танцевание”...» (Цветаева, 2016, с. 116).

¹² Возможно, речь идет о книге из библиотеки Дм. Иловайского, ему принадлежавшей, но не им написанной. Контекст высказывания, впрочем, скорее говорит о втором. В эссе «Дом у Старого Пимена» Цветаева называет две детские книги из библиотеки Иловайских, подаренные Марине и Асе второй женой историка – А. А. Иловайской. Этот факт верифицируется письмом девочки-Цветаевой, в котором она благодарит Александру Александровну за один из подобных подарков: «Какая это прекрасная книга, как дивно сделаны рисунки! Мы страшно любим книги, и у нас скопилась порядочная библиотека. Ваша чудная книга доставила нам огромное удовольствие. Я как раз учу историю и “Царь Иоанн Грозный” пришлось мне как нельзя более кстати» ([Жупикова, 2015, с. 109]; письмо от 8 января 1906 г.).

ее образ не представляет особого интереса для сочинения Иловайского. По мнению исследователя, для консервативного пула историков характерен «патриархальный профиль» репрезентации этого образа, конвенции которого не предполагают какую-либо субъектность и личностную автономию исторического персонажа, если он является женщиной.

Обратимся непосредственно к источникам. В начале очерка Д. Иловайского «Смутное время Московского государства» феномен самозванства, ставший генератором невероятной «игры престолов» бурного первого десятилетия XVII в., прямо возводится к враждебной Речи Посполитой, ее польской и «ополяченной западнорусской аристократии». Иловайский утверждает, что анархическая среда соседней страны со «своевольным панством и хищным украинским казачеством» способствовала возникновению этого феномена, так как Речь Посполитая уже имела опыты «выставлять самозванцев для соседей» [Смутное время..., 1894, с. 2]. Удачность трансплантации явления – буквального «заражения» самозванством русских земель – в консервативно-охранительной логике связана с одновременно флюидным и фронтирным характером Западной Руси, органически близкой Московии, но подверженной внешним неблагоприятным влияниям.

В образе самого первого самозванца Иловайский также подчеркивает религиозную флюидность (его идентичность конструируется в поле напряжений между православием, католицизмом, протестантством и арианством), а также авантюрный строй личности:

Кто был первый самозванец, принявший на себя имя царевича Димитрия, может быть, со временем объяснится какою-нибудь счастливою находкою, а может быть, навсегда останется тайною для истории. <...> Можем только заключить, что, по разным признакам, **это был уроженец Западной Руси и притом шляхетского происхождения. В какой религии он был воспитан, трудно сказать: может быть, в православной; а возможно, что он принадлежал к Реформации и даже к столь распространенному тогда в Литовской Руси арианству.** Во всяком случае, на историческую сцену молодой Самозванец выступил из среды бедного шляхетства, которое наполняло дворы богатых польских и западнорусских панов, нередко переходя на службу от одного из них к другому. **Это был хотя и легкомысленный, но несомненно даровитый, предприимчивый и храбрый человек, с сильно развитой фантазией и склонностью к романтическим приключениям** [Там же, с. 3].

Историк Иловайский отвергает карамзинско-пушкинскую генеалогию самозванца, его самозванец – точно не Григорий Отрепьев, названный в годуновских грамотах, происхождение героя исторического очерка – непосредственно дом Мнишеков за границами Московии, а не расположенный в абсолютном центре государства Чудов монастырь. Если общие охранительные конвенции, не предполагающие возможности самозарождения самозванства внутри Российского государства, вполне историком соблюдаются, то образ неистовой Марины всё же частично выходит за границы конвенций, предписываемых патриархальным дискурсом:

Сдается нам, что и самый толчок к столь отчаянному предприятию, самая мысль о самозванстве явилась у него не без связи с романтическими отношениями к Марине, дочери Сендомирского воеводы, у которого некоторое время он, по-видимому, находился на службе. **Возможно, что кокет-**

ливая, честолюбивая полька, руководимая старым интриганом-отцом, вскружив голову бедному шляхтичу, **сама внушила ему эту дерзкую мысль. Как бы то ни было**, сие столь обильное последствиями предприятие, по нашему крайнему разумению, получило свое таинственное начало в семье Мнишеков и было ведено с их стороны весьма ловко [Смутное время..., 1894, с. 3].

Этот фрагмент достаточно показателен. С одной стороны, Марина Мнишек ожидаемо предстает как орудие в руках «интригана-отца», с другой – Иловайский несколько выходит за границы консервативного дискурса, для которого характерна аксиоматичность мужского характера власти, акцентируя неординарный «честолюбивый» характер героини, а также способность внушать и доносить «дерзкие мысли». В его логике невозможно допущение самозванства как родовой «хронической болезни русского государства», причиной которой является абсолютность монархии, провоцирующая бесконечные покушения на «бессмертное родовое тело короля»¹³.

В пушкинском «Борисе Годунове» Марина Мнишек становится катализатором изначальных устремлений честолюбивого Григория Отрепьева: герой является к ней как подлинный царевич Димитрий, обнажая миметичность своей природы в порыве страсти и пароксизме любовного доверия. Напряженный диалог в знаменитой сцене у фонтана ведет к перерождению героя, к стиранию грани в шекспировском духе между «быть» и «казаться»¹⁴, окончательному снятию границы между ролью и статусом, положением и происхождением¹⁵, а само движение к московскому престолу обретает любовную мотивировку. Однако в исторической драме, и это существенно для пушкинской историософии, идея самозванства приходит в голову героя не в польском доме сендомирского воеводы, а непосредственно в русском Чудовом монастыре, тесно связанным с московским престолом и находившемся под особым покровительством рода Годуновых. В случае Иловайского исторический факт полностью подчиняется идеологическому паттерну, поэтому высокую роль в его дискурсе начинают играть метаконструкции условности и допустимости («сдается нам», «возможно», «как бы то ни было»), через которые продвигается идея об исключительно иностранной (польской) генеалогии этого исторического явления – опасной инфекции, занесенной извне, а не хронической болезни, возникшей в результате системного кризиса русского государства.

Свободолюбивая и эмансипированная юная Цветаева, желавшая «умереть за русскую конституцию», была бесконечно далека от политических взглядов своего экзотического деда. Однако именно его историческое письмо становится для нее чрезвычайно привлекательным: обилие метатекстовых конструкций, резко расширяющих область фантазийного и допустимого, обилие живописных деталей (в духе упомянутого в «Доме у Старого Пимена» «Митридата в Понтийских болотах», потерявшего «семь слонов и один глаз») и побочных сюжетов вполне корреспондируют со «словесным гомеризмом» (безмерностью) самой Цветаевой,

¹³ См. такое позиционирование в работе И. Калинина [2016, с. 442].

¹⁴ См. у Шекспира «Он грань хотел стереть меж тем, чем был и чем казался». В таком переводе эта цитата из шекспировской «Бури» (реплика Просперо) актуализирована в работе И. Калинина [2016, с. 448].

¹⁵ В исследовании И. Калинина эти черты указываются в качестве эстетической «подводки» к самозванству.

реализуемым ею уже в области художественного творчества. Вероятно, свойственная ей «безмерность в мире мер» побуждает автобиографическую героиню использовать учебник Иловайского в качестве подходящего «орудия», направленного против школьной догмы (физического воплощения «мира мер»).

Анархической поэтической душе Марины Цветаевой парадоксальным образом окажется близок образ прекрасной и неистовой соименницы, стихийный характер которой был ярко представлен в работе известного историка. Отмеченная автобиографической героиней в «Доме у Старого Пимена» «художественность» подачи исторического материала, свойственная историческому нарративу Иловайского, снимает творческую проблему трансплантации исторического образа в художественный текст, перевода языка исторической науки на язык поэтического высказывания. Однако все черты исторических персонажей – Лжедмитрия и Марины Мнишек, восходящие к польскому культурному стереотипу, усвоенные юным поэтом и негативно представленные консервативным историком: выраженная «инородность», «гордыня», «бунташный» и флюидный характер – в аксиологии Цветаевой радикально перечитываются (со сменой оценочных полюсов) и кладутся в основу собственной поэтической мифологии.

Список литературы

Виппер Р. Учебник истории. Новое время. Рига: Изд. Общ. Вальтере и Рапа, 1928. 473 с.

Древняя история. Составил Д. Иловайский. Изд. 6. Распространенное в объеме курсов средних учебных заведений. М.: Тип. Грачева и Коми, 1867. 342 с.

Жутикова Е. Ф. Иловайские и Цветаевы. М.: Новый хронограф, 2015. 256 с.

Калинин И. «Он грань хотел стереть меж тем, чем был и чем казался»: Рабы, самодержцы и самозванцы (диалектика власти) // НЛЮ. 2016. № 6. С. 441–464.

Мейкин М. Марина Цветаева: поэтика усвоения. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1997. 312 с.

Орловский Я. Польский миф в поэтическом мире М. Цветаевой. 2016 // URL: <https://www.chitalnya.ru/work/1642703/?ysclid=laouy1tgxe449142335> (дата обращения 10.10.2022).

Рудик И. Русская тема в сборнике Марины Цветаевой «Версты. Стихи. Выпуск 1» Tartu: Tartu Ülicoolu Kurjastus, 2014. 166 с.

Смутное время Московского государства. Соч. Д. Иловайского. М.: Тип. М. Г. Волчанинова, 1894. 343 с.

Шевеленко И. Д. Литературный путь Цветаевой: Идеология – поэтика – идентичность автора в контексте эпохи. М.: НЛЮ, 2002. 464 с.

Юдин А. В. Марина Мнишек глазами российских историков XVIII – начала XX века // Шаги. 2016. Т. 2, № 4. С. 60–95.

Список источников

Марина Цветаева. Вадим Руднев. Надеюсь – сговоримся легко. М.: Вагриус 2005. 208 с.

Цветаева М. И. Записные книжки: В 2 т. М.: Эллис Лак, 2001. Т. 2. 544 с.

Цветаева М. И. Письма. 1905–1923. М.: Эллис Лак, 2012. 792 с.

Цветаева М. И. Письма. 1924–1927. М.: Эллис Лак, 2013. 760 с.

Цветаева М. И. Письма. 1933–1936. М.: Эллис Лак, 2016. 816 с.

Цветаева М. И. Сводные тетради. М.: Эллис Лак, 1997а. 640 с.
Цветаева М. И. Собр. соч.: В 7 т. М.: Terra, 1997б.

References

- Drevnyaya istoriya* [Ancient history]. D. Ilovayskiy (Comp.). 6th ed. Produced for the secondary school courses. Moscow, Tip. Gracheva i Komi, 1867, 342 p.
- Kalinin I. “On gran’ khotel steret’ mezh tem, chem byl i chem kazalsya”: Raby, samodержzhtsy i samozvantsy (dialektika vlasti) [“He wanted to erase the line between what he was and what he seemed”: Slaves, autocrats and impostors (dialectics of power)]. *New Literary Observer*. 2016, no. 6, pp. 441–464.
- Meykin M. *Marina Tsvetaeva: poetika usvoeniya* [Marina Tsvetaeva: the poetics of assimilation]. Moscow, Dom-muzey Mariny Tsvetaevoy, 1997, 312 p.
- Orlovskiy Ya. *Pol’skiy mif v poeticheskom mire M. Tsvetaevoy* [Polish myth in the poetic world of M. Tsvetaeva]. URL: <https://www.chitalnya.ru/work/1642703/?ysclid=laoyultgxe449142335> (accessed 10.10.2022)
- Rudik I. *Russkaya tema v sbornike Mariny Tsvetaevoy “Versty. Stikhi. Vypusk 1”* [The Russian theme in the collection of Marina Tsvetaeva “Milestones. Poetry. Iss. 1”]. Tartu, Tartu Ülicoolu Kurjastus, 2014, 166 p.
- Shevelenko I. D. *Literaturnyy put’ Tsvetaevoy: Ideologiya – poetika – identichnost’ avtora v kontekste epokhi* [The literary path of Tsvetaeva: Ideology – poetics – author’s identity in the context of the epoch]. Moscow, NLO, 2002, 464 p.
- Smutnoe vremya Moskovskogo gosudarstva*. Soch. D. Ilovayskogo [Time of troubles of the Moscow state. Writings of D. Ilovaiskiy]. Moscow, Tip. M. G. Volchaninova, 1894, 343 p.
- Vipper R. *Uchebnik istorii. Novoe vremya* [History Textbook. New time]. Riga, Izd. Obshch. Val’tere i Rapa, 1928, 473 p.
- Yudin A. V. *Marina Mnishek glazami rossiyskikh istorikov 18 – nach. 20 vv.* [Marina Mnishek as seen by Russian historians of the 18 – early. 20 centuries]. *Steps*. 2016, vol. 2, no. 4, pp. 60–95.
- Zhupikova E. F. *Ilovayskie i Tsvetaevy* [Ilovaiskiys and Tsvetaevs]. Moscow, Novyy khronograf, 2015, 256 p.

List of sources

- Marina Tsvetaeva. Vadim Rudnev. Nadeyus’ – sgovorimsya legko* [Marina Tsvetaeva. Vadim Rudnev. I hope we can talk easily]. Moscow, Vagrius, 2005, 208 p.
- Tsvetaeva M. I. *Pis’ma. 1905–1923* [Letters. 1905–1923]. Moscow, Ellis Lak, 2012, 792 p.
- Tsvetaeva M. I. *Pis’ma. 1924–1927* [Letters. 1924–1927]. Moscow, Ellis Lak, 2013, 760 p.
- Tsvetaeva M. I. *Pis’ma. 1933–1936* [Letters. 1933–1936]. Moscow, Ellis Lak, 2016, 816 p.
- Tsvetaeva M. I. *Sobr. soch.: V 7 t.* [Collected works: in 7 vols.]. Moscow, Terra, 1997b.
- Tsvetaeva M. I. *Svodnye tetradi* [Summary notebooks]. Moscow, Ellis Lak, 1997a, 640 p.
- Tsvetaeva M. I. *Zapisnye knizhki: V 2 t.* [Notebooks: in 2 vols.]. Moscow, Ellis Lak, 2001, vol. 2, 544 p.

Информация об авторе

Светлана Юрьевна Корниенко, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск, Россия)
SPIN 2160-4775

Information about the author

Svetlana Yu. Kornienko, Doctor of Philology, Associate Professor, Professor at the Russian and Foreign Literature, Literary Theory and Methods of the Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk, Russian Federation)
SPIN 2160-4775

*Статья поступила в редакцию 29.11.2022;
одобрена после рецензирования 30.12.2022; принята к публикации 30.12.2022
The article was submitted on 29.11.2022;
approved after reviewing on 30.12.2022; accepted for publication on 30.12.2022*